

Долго и счастливо

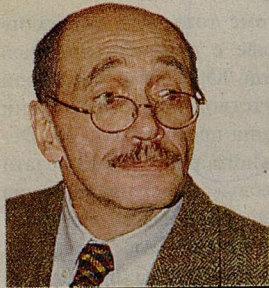
НГ Exlibris (прил. к Независимой газ.) —
2005. — 13 янв. — с. 1-2

Александр Кабаков: «Пока пил, постоянно в своих сочинениях многое проглатывал»

Слава к Александру Кабакову пришла в перестроечные годы, с выходом романа «Невозвращенец». В минувшем году вышел его новый роман «Все поправимо», получивший прекрасную прессу, однако по непонятным для нас причинам в шорт-лист Букера он не вошел. Впрочем, не в премиях творческое счастье. Не успели оглянуться, а писатель Александр Кабаков закончил новую книгу рассказов, которая вскоре выйдет в издательстве «Вагриус». Чем не тема для новогодней беседы?

— Саша, с наступившим Новым годом. Каковы, как ска-

зал бы наш с вами любимый Юрий Трифонов, «предварительные итоги»?



— У меня три года чудовищных испытаний! Совсем бросил пить. При том, что я очень редко меняю работу, — дважды за полтора года сменил работу. Сменил место жительства — пе-

реехал из Москвы в подмосковную деревню. И много чего еще... Меня можно показывать

написал большой роман, который очень неплохо встречен и читателями, и даже критикой, и

Для меня что-то ощутимо с полуслова, а для моего читателя — нет. Вот мы с ним и расходились

студентам, потому что нормальный человек всего этого никогда не выдержит.

— А плюсы есть?

— Есть. Жуткая активизация писания. За два с половиной года я

книгу рассказов, которую на днях закончил и отдал...

— Куда? Ваше издательство — «Вагриус»?

— Да. Помните: «И поражения от победы ты сам не должен отли-

чать»? Я не считаю свой последний роман «Все поправимо» намного лучше предыдущих, но он... Он имеет успех. Я на трезвую голову стал писать так, что сделался более понятным другим людям. Мое прежнее — это была умелая литература, но в любом случае это была запись алкогольного бреда.

— Никогда бы не подумала. Мне ваш роман «Все поправимо» показался чрезвычайно интересным — и художественно, и социально, и психологически.

— Бывает так: два человека говорят между собой, и один из них, в силу того, что он быстро думает, проскакивает некие логические звенья. Проскакивает — и становится непонятен. Так и я:

пока пил, постоянно в своих сочинениях многое проглатывал. Для меня что-то ощутимо с полуслова, а для моего читателя — нет. Вот мы с ним и разошлись. А на трезвую голову мы с ним взяли и сошлись.

— Сквозная тема романа «Все поправимо» — это предательство. Предательство как таковое вас вообще волнует. Почему?

— Раньше меня вся эта проблематика не так волновала. А в последнее время я стал если не больше сталкиваться с предательством, то просто отчетливее его замечать. И я решил исследовать это не на понятном мне, заметном материале, а придумать некие ситуации.

ОКОНЧАНИЕ НА СТР. 2

Долго и счастливо

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР.1

Например, всю фабулу детства я придумал. Я действительно из семьи военного инженера. Еврейская семья. Еврейское военное окружение – оно не такое уж банальное. Оно специфическое. Оно мною не придумано. Но коллизия – придумана... Ничего похожего. Я придумал коллизии неочевидного (непознаваемого!) предательства. Предательство – вещь метафизическая, когда может быть и непонятно: кто? кого? что?

– Когда вы ощутили себя писателем?

– Писать я всегда писал. Но все мое писание заключалось в довольно умелом складывании слов. Долго ничего по-настоящему не умел. Начинать и бросал. Мне было скучно дописывать. Не любил работать. Был патологически ленивым.

Сейчас-то я очень много работаю – работаю за то, что недоработал в молодости... Я вообще поздний. Я ведь сначала был как бы юмористический писатель. «Литературка» – 16-я полоса. Лауреат премии «Золотой теленок»! «Московский комсомолец»... Так писать я умел. А серьезно писать? Три страницы, а на большее у меня духу не хватало... Мне за те рассказы не стыдно абсолютно. Я их потом собрал в книжку, она при советской власти семь лет пролежала в «Советском писателе», благополучно дожидаясь, ненапечатанная, до перестройки, и я ее сам выкинул. Да. Долго так было: три страницы, ну пять, а на большее меня не хватало.

Правда, я в ранней молодости написал повесть. Я ее недавно нашел. Юношеская, конечно. Но она нестыдно написана. По советским-то временам... По-советски писать мне было противно – я всегда был настроен несоветски. Я писать про комсомольские стройки не мог. И потому еще я не рвался в советские писатели... Но все-таки эту повесть я написал, было мне лет 27, и я был немножко знаком – по джазовым делам – с Аксеновым. Я его очень люблю, он меня никогда ничему не учил, мы просто дружим много лет. Я Аксенову эту вещь показал. И он мне сказал (я даже запомнил) – ничего особенного: «Никогда не пиши по свежим впечатлениям...» А у меня там чувства по свежим следам были описаны. И я ничего не стал ни переделывать, ни доделывать...

Серьезно я стал писать, когда мне надоели фиги в кармане. И я начал писать лютую антисоветчину.

– Многие из нынешних молодых людей вообще не понимают, кто такие стилиги. А вы были стилига. Как бы вы коротко такому молодому человеку этот феномен объяснили?

– Я был поздний стилига. Я того поколения, которое Аксенов назвал в повести – «Мой младший брат». Я и есть младший брат настоящих стилигов, но с юности очень тяготел к старшим. Моя компания всегда были люди постарше. Стилиги – люди от 1932-го до 1940 года рождения. – Какова этимология этого слова? Кто его придумал?

– Придумал крокодильский фелетонист. Это не самоназвание. Самоназвание было чуваки... Весь сленг того времени шел от джазовых, точнее рестораных музыкантов. А к ним очень много слов пришло из блатной лексики. Чувак – это искаженное «человек».

– Что стилиги исповедовали?

– Западничество. Первые западники при советской власти были стилиги. Это была настоящая пятая колонна. Причем не осознававшая себя полностью, а на почти физиологическом уровне. На физиологическом уровне отращения даже не к системе, а к сущности этой жизни... Мы настолько не принимали все, что за этим стояла и сущность. Советское – все – отвратительно. А там – все – хорошо.

– А что потом со стилигами стало?

– Вы знаете, талантливые почти все пробились. Ведь что такое стилиги? Это часть шестидесятников. А шестидесятники – это две части поколения: одну исключали из комсомола, а другая

плавно перетекает в горестный пафос. Поэтому они не циничные, надеюсь... Советский народ был весьма склонен к иронии и юмору. Это была такая народно-интеллигентская форма государственного цинизма.

– А в ежедневной жизни вам кто будет ближе – циник или романтик?

– Для жизни, конечно, романтик. И всегда у меня так было. Я очень не люблю циников. Цинизм – опасное для окружающих состояние. Крайняя форма эгоизма. Мы все знаем, что человек больше всех ценит себя самого. Если нет у него сверхъестественной способности к самопожертвованию. Но только циник это проявляет ясно, недвусмысленно, категорически и всегда. Мы все приучены это скрывать, а циник – нет. А циник на это плюет.

– А какие женщины вам ближе – романтически-жественные или стервы?

– Я стерв не люблю. Я их сразу вижу и отталкиваю умом. Но это может происходить (так и

жизнь – провалилась, и вот сидят в конце два старика, как бы уже и чужие друг другу. Жизнь прошла и почти врозь. А куда они друг от друга не денутся. И поэтому «все поправимо».

– Ясно. Кого из русских писателей-современников – кроме очевидного для меня Трифонова – вы могли бы назвать своим учителем?

– Я уже говорил – Аксенов. Я его люблю, мы с ним дружим, насколько возможна дружба с безусловным классиком... Еще из ныне пишущих мне очень нравятся рассказы Асара Эппеля и Жени Попова. Они к тому же – мои приятели. Саша Мелихов. Только что прочел его последний роман «Чума» – хорошо. Я вообще откровенно пристрастен к приятелям. А одно из сильнейших и совсем не приятельских впечатлений последних лет – Сергей Болмат. Интересная фигура. Он – питерский художник средних лет, насколько я знаю, уехал в Германию, там написал роман. Роман называется «Сами по себе». Он вышел

Я всегда был настроен несоветски.
Я писать про комсомольские стройки не мог. И потому еще я не рвался в советские писатели...

исключала из комсомола. Один шестидесятник – это Юрий Афанасьев, главный пионер Советского Союза, а другой – его друг, которого он из комсомола, повторяю, исключал. А теперь они все – шестидесятники... Они были разные. Пробились и те, и другие. Стилиги пробились позже и уже на излете советской власти. Это кто со способностями. А те, кто без способностей, те – сгинули. Потому что стилиги были близки к криминалу... Кто спился, кто просто помер рано. А кого власть сгноила. Вылетали из института – и все. Все. – Вы скучаете по советскому времени, ностальгируете?

– По советскому времени не скучаю ни одной секунды. Как ненавидел советскую власть, так и сейчас ненавижу. Ничего ей не простил. Ничего. А по времени скучаю – эстетически. И не по советскому времени, а по мировому времени середины XX века. По классике XX столетия... Да-да, XX век имел свое классическое время. Оно было очень страшное, на самом деле, причем во всем мире. Но эстетически это была классика. От середины 30-х до середины 50-х. По этому времени я скучаю «декоративно», хотя половину его прожил мальчишкой.

– Я недавно прочла у вас, что вы с годами разочаровались в иронии, разочаровались, поняв, что она есть едва ли не синоним цинизма. Что пришло ей на смену в вашей писательской интонации?

– Ирония – таков был стиль общения шестидесятников. А ирония – это и есть цинизм. Деликатный синоним цинизма. Да, мои рассказы из новой книги – они абсолютно иронические. Ирония теперь у меня

происходило) – только на психологическом уровне. Потому что на физиологическом уровне – все другое. Там все наоборот. Но я почти всегда эту физиологическую составляющую преодолевал. Есть люди, которым стервы кажутся романтическими, а я сразу вижу в них пошлую составляющую. В них ведь всегда заключена сильная пошлость. И они смешные. Чувство юмора выручает... Меня привлекал неромантический и даже обывательский тип женщины – душечка. В душечке, на мой взгляд, меньше пошлости, чем в женщине-вамп. Для меня этот тип женщины был гораздо привлекательнее. Я в юности – когда меня это еще интересовало – говорил: «Женщина должна быть машинисткой или медсестрой, а лучше и то, и другое». Понимаете: медсестра, которая умеет печатать (тогда это было актуально: машинистка). Хотя и сам я прекрасно на машинке печатал.

– Ну, теперь душечка должна уметь печатать на компьютере... А вы пишете черновики, а потом уже – на компьютер?

– Я пишу сразу на компьютере. Если я закрыл страницу (если не закрыл, еще могу переделывать), – то в следующий раз я ее увижу уже опубликованной.

– Последний роман вы назвали «Все поправимо». Мне это название нравится, но оно для вас странное. Очень категоричное и публицистичное.

– Оно идет от известного – «Все поправимо, кроме смерти».

– А были иные варианты заглавия?

– Были. Роман сначала назывался «Долго и счастливо». Вся

года три-четыре назад. Блистательно. Вот какой роман я хотел бы написать!

– Сейчас пишется что-то совсем новое?

– Последний рассказ я закончил недавно. Сшил книжку, придумал название...

– Название – секрет?

– Не секрет. «Московские сказки». Есть, например, «мордовские сказки» – будут «московские»...

– Раз вы уже однажды в «Невозвращенце» предсказали нашему обществу его недалекое будущее, то спрошу: ваш прогноз на ближайшие... ну, лет десять. Что с нами со всеми будет?

– Я никогда не мог о таком говорить – только писать. Складывается картинка, а из картинки все само собой вырисовывается. А если стану рассуждать логически, то это будет на уровне политического журналиста.

Но все же скажу: я глубоко убежден, что ни Россия, ни даже Северная Корея, Ирак, Иран, Куба не избежат общей участи: путь – один. Путь рыночной экономики. Мы можем трепыхаться сколько угодно, но движение – в одну сторону. Однозначнее. В другую сторону не получается. Только это – естественное устройство общества, все остальное – попытка сделать нечто искусственно. Как в том анекдоте: «Социализм надо строить, а капитализм достаточно разрешить».

– Вы – оптимист?

– Я сам придумал такую формулу: «Все гораздо хуже, чем хотелось бы, но гораздо лучше, чем могло бы быть». Это касается всего, но прежде всего – моей собственной жизни.

Беседовала Татьяна Бек